

## ПАШКА ВОРОНОВА

В лагере я попала на швейную фабрику. Сначала все шили для заключенных, а когда началась война стали шить военное обмундирование.

Бригадиром у нас была Пашка Воронова, дважды убийца: убила мужа и свекровь, небольшого роста, плотная, с удивительной, прыгающей походкой. Глаза у Пашки были желтые, как у кошки. По любому поводу она приходила в бешенство, и тогда глаза у нее сужались и загорались такой ненавистью, что делалось страшно.

С не выполняющими немедленно ее распоряжения она расправлялась тотчас и без предупреждения. Рука у Пашки была тяжелая.

Особенно часто она избивала Дину, пятнадцатилетнюю девочку-ассирийку. Никто не заступался, все боялись Пашку. Как в каждом «порядочном» лагере у нас была III-я часть, к дверям которой никто никогда не подходил без вызова.

И вот однажды я решила пойти туда и пожаловаться на Пашку. Если бы на пороге у начальника III части появилось доисторическое животное, он бы, наверное, не так удивился, как моему вторжению.

Но я была еще необтесанным зеком и не видела особой разницы между начальством на воле и в заключении.

Все-таки, несколько сбивчиво я стала объяснять ему цель своего прихода: «В цехе бригадиром уголовница. Убийца. Она и двух слов не скажет без мата и чуть что не по ее – избивает. Прошу принять меры».

Лицо начальника вытянулось в знак вопроса, потом вдруг он разразился неудержимым хохотом. Сдержался, посмотрел на меня с сожалением, как на малое дитя, несмышленьша, и неожиданно мягко сказал: «Видите ли, дело в том, что в данном заведении находятся самые отбросы, самые подонки общества. Что же Вы хотите? Вероятно, трудно будет их перевоспитывать».

О моем хождении в III часть Пашка узнала, стукачей в лагере было достаточно, и искала случая расправиться со мной.

Однажды мне принесли чью-то бракованную деталь. Пашка приказала мне переделать. Я отказалась, т.к. у меня брака никогда не было. Ей передали, и я увидела, что она направляется ко мне. Своей прыгающей птичьей походкой она быстро приближалась. Я поняла, что ее ничто не остановит от расправы.

До этого случая на меня никто еще не никогда не поднимал руку. Меня охватило отчаяние обреченной, и в голове моментально созрел план. Я посмотрела на свой табурет низкий и тяжелый, и решила, что в тот же момент, когда Пашка подойдет ко мне вплотную, я изо всех сил опущу этот табурет ей на голову. Пусть убью, но зато не позволю себя ударить. Наказания я не боюсь: по крайней мере, буду знать, за что сижу.

И вот по мере того как Пашка приближалась, я стала медленно поднимать табурет. Не знаю, какой был у меня вид, только все вдруг перестали шить...

Две пары глаз встретились: желтые, горящие бешенством, и серые, непримиримые. И вдруг Пашка неожиданно остановилась. Теперь лицо ее выражало изумление. «Что, убить меня хочешь?» - тихо спросила она. «Да», - также тихо ответила я. «И убила бы?» «Убила».

Пашка вдруг расхохоталась. Неудержимо, весело. «Вы посмотрите на нее, - громко и восхищенно закричала она на весь конвейер, - такая пигалица – и убить Пашку Воронову. И убила бы?» «Убила», - твердо ответила я.

С этой минуты Пашка полюбила меня, не переставая каждый раз восхищаться. Теперь я могла обращаться к ней с любыми просьбами.

И первая была в отношении Дины. Больше она ее никогда не била. Да вскоре Пашку куда-то перевели, и бригадиром стала одна из «жен» Казимира Дашкевич.

## РУКАВИЦЫ

На фабрику поступил заказ на рукавицы для воинов. До этого шить их нам не приходилось. Что-то не ладилось с выкройкой. Хорошо еще, что закройщик был вольнонаемный, а то бы нас обязательно обвинили во вредительстве. После того, как рукавицы были сшиты, большой палец обязательно сводило. Шел сплошной брак. Шитье прекратили. Казимира сидела за конвейером и внимательно перебирала крой, пытаясь найти ошибку. Машины молчали. В цехе было очень холодно. Все уныло сидели на своих местах. Вдруг двери цеха распахнулись и с шумом вошли директор фабрики, нач. КВЧ и еще несколько человек. Мы встали.

«Значит так - почти закричал начальник КВЧ – сидите, саботируете, а там солдаты воюют с голыми руками, а вам наплевать...» «Мы пробовали шить, – вступилась Дашкевич, – но идет один брак и мы перестали».

«А-а-а... - заорал КВЧ, - брак гоните? На, мол, сволочь, Красная армия, получай от нас подарок!» Неизвестно что бы еще накричал начальник, если бы вдруг в его крик не ворвался пронзительный вопль одной из наших женщин: «Вы не смеете, Вы не смеете так говорить о Красной армии, мы не позволим! У меня два сына в Красной армии! Не смейте!!!» И она отчаянно зарыдала, громко, на весь цех. И тут со всех концов послышались рыдания. Все сто пятьдесят человек плакали навзрыд.

Незаслуженное оскорбление, сознание своего бессилия, накопленные обиды – все вылилось в этом плаче. Я обняла руками свою машину, прижалась к ней лицом и плакала безудержно.

Вероятно эта коллективная истерика все-таки произвела впечатление на начальство. «Включай моторы!» - заорал директор. Цех наполнился ревом моторов, заглушая плач. Начальство ушло, с ними вышел наш начальник цеха. Он был вольнонаемный, без ноги – успел побывать на фронте.

Страшно расстроенный, он объявил, что мы наказаны: без писем, без посылок, всем 2-й котел. Его получали только лодыри и прогульщики, а наш цех всегда был стахановским. Мы были подавлены. Наступил обеденный перерыв. В столовую никто не пошел. Идти к окошечку 2-го котла было позорно, да и есть не хотелось. Не пошли и на второй и на третий день. Наш начальник направился на аудиенцию к начальнику лагеря. «Не могу смотреть на этих несчастных женщин, - сказал он. – Голодные, в холодном цехе, несчастные, невиноватые. Ну как они могут шить, если крой никуда не годится? Увольняйте меня, я не могу смотреть им в глаза».

Второй котел с нас сняли, а на пятый день нашли ошибку, принесли нормальный крой и мы принялись за работу. Военный заказ был сдан в срок. Потом мышили офицерское обмундирование. Вскоре директор цеха за нашу работу был награжден орденом Ленина.

## БОЛЕЗНЬ

У меня началось кровохарканье. Заносит, заносит в груди, а потом вдруг хлынет кровь. Тогда соседки по конвейеру бросаются убирать детали. Шили военное обмундирование. В таких случаях меня клали под конвейер, а мои детали шили все соседки. Но долго лежать там я не хотела, боялась, что наделают брак. Завязывала рот тряпкой и садилась шить.

Я ненавидела брак и, если что-нибудь не получалось, никогда не откладывала в сторону, а тут же переделывала. Начальник всегда ставил в пример молоденькую Любу Хван и меня. «Вот, - говорил он, - у них никогда нет брака, туберкулезницы, а всегдашние стахановки, шьют что надо!» Дневальной в нашем цехе была уголовница Гунькина. Ее звали «Зверем». Даже во время перерыва она не разрешала выйти из цеха во двор. Хотя убежать оттуда было все равно невозможно. Фабрика была обнесена высоченным

забором, кроме того, находилась в лагере, который в свою очередь был огорожен непреодолимой стеной с многочисленными дозорными вышками.

Но порядок есть порядок, и Гунькина никого во двор не выпускала. Как-то у меня случилось особенно сильное кровотечение, пришлось в ночное время вызвать в цех медсестру. Она посмотрела, дала какой-то порошок и ушла. Бюллетень дать побоялась. Мне было очень плохо, и я решилась на беззаконие: вышла из цеха и села на порог подышать воздухом.

Через минуту рядом со мной оказалась Гунькина. Подперлась рукой подеревенски: «Сидишь, сердешная, все кашляешь?» «Да, кашляю», - ответила я. «Ну сиди, сиди» - в голосе ее послышались неожиданно теплые нотки. В это время зазвонил телефон. «Здоровьем интересуешься, - услышала я голос Зверя-Гунькиной, - а бюллетень не даешь? Иди ты к такой-то матери!» И она со злостью повесила трубку.

Дашкевич решила попробовать списать меня из цеха. Трудно было в это поверить. На наших глазах погибло несколько молодых, казалось бы на вид здоровых женщин. Работали хорошо, но вдруг начинали опухать, попадали в больницу и оттуда уже не возвращались.

Была Даша С., молоденькая донская казачка. Ее посадили за когдатошное восстание в станице. В то время ей было 6 лет. Рассказывала она о своем преступлении, смеясь, надеялась, что скоро освободится. Муж очень хлопотал. Не пришлось. Так и осталась Даша в сибирской земле.

Как только в цех приходило какое-нибудь начальство, так наша бригадир Дашкевич начинала разговор обо мне, что я все время кашляю кровью, порчу детали. Почему-то во время прихода начальства у меня никогда кровохарканья не было, и бригадир на меня обижалась: не кашляю и все! И вот однажды во время посещения директора, когда бригадир решила обратиться к нему лично с просьбой списать меня с цеха – получилось. Уже с утра все ныло у меня в груди, голова кружилась. «Вот работница у меня, - сказала Дашкевич, - все кашляет кровью, того гляди помрет за конвейером!» «Ну, когда еще помрет, а пока пусть поработает», - ответил директор Осинюк/Осипюк.

Мне вдруг стало так обидно, что я глубоко, глубоко вздохнула и... кровь струйкой хлынула из горла. Тут же мои соседки быстро сообразили и устроили настоящий переполох. Одни соскочили с мест, закричали: «Хватай детали, сейчас все зальет кровью!», другие потащили меня под конвейер.

Инсценировка удалась. На другой день, когда я пришла на работу, бригадир сказала: «Иди в контору, с цеха тебя списали». Я забыла сказать, что врачами я была активирована по состоянию здоровья еще три месяца [тому] назад. Но, вероятно, так бы и не списали, если бы не Казимира Дашкевич. Из цеха не отпускали никого, пошив был военный.

## **ПАРТОРГ МАСЛОВ**

Уже год я работаю в конторе в отделе «Вещстол» (?). До этого счет видала только издали, а тут научилась и складывать и вычитать, и делить, и множить. Числилась счетоводом, но фактически выполняла работу бухгалтера со всей полагающейся отчетностью. Начальству так было выгоднее: бухгалтеру полагалась зарплата 80 р., счетоводу платили 30. Работали в конторе и вольнонаемные. Они получали намного больше, но всю работу фактически выполняли заключенные.

У нас появился новый бухгалтер. Он тоже «отбывал» недавно, но по каким-то служебным злоупотреблениям, поэтому не считался «врагом народа», и ему доверяли. Это был пожилой, очень добродушный человек. Через некоторое время, после того как он присмотрелся к работникам конторы, он сказал мне: «Что это ты какая доходяга? И все кашляешь? Хочешь, я тебя отправлю на два месяца в тайгу на сенокос? Подышишь воздухом».

К этому времени я уже 6 лет находилась в заключении и, конечно, страшно обрадовалась. Неужели свежий воздух?! Тайга? Собрали сотню девчонок-уголовниц с 2-3-летним сроком, чтобы косить сено, меня назначили учетчицей.

В сопровождении пяти конвоиров и начальника участка мы отправились за 50 км от лагеря в тайгу. С нами погнали 100 голов телят и 6 коров, которые должны были пастись в лесу. Там уже был приготовлен сруб для конвоя и вырыта землянка, где поселилась я и молоденькая ветфельдшер. Для девчонок соорудили навес с нарами и обнесли его изгородью из молодых березок.

Начальник участка Копылов, человек лет 50-ти, хромой, был добрым, но очень вспыльчивым человеком и непревзойденным матерщинником. Без мата он не мог сказать и двух слов, и поэтому однажды я взяла и ради шутки повесила на стенку листок бумаги с заголовком: «Количество матов, выпускаемых начальником 2-го лесоучастка за день». Когда он заходил к нам в землянку и выпускал свои любимые словечки, я тотчас вскакивала и ставила в листочке единичку. Он ничего не замечал, и мы с ветфельдшерицей Марусей покатывались от смеха.

Как-то заехал на наш участок парторг вольнонаемных Маслов. Это был веселый еще молодой человек. Начальник очень нахваливал ему меня за хорошую отчетность. И вдруг Маслов увидел забытый мной листочек на стене. Я не успела его перехватить, и тот оказался в его руках. Он громко прочитал заголовок вслух: «Что? Что? Количество матов, выпускаемых начальником...» Он разразился неудержимым хохотом. «Да, - насмеявшись вдоволь, сказал он, - ты прав, Копылов. Она действительно великолепная учетчица!»

Как только Маслов уехал, наш начальник буквально ворвался в землянку. «Позоришь меня, мать твою! – заорал он. – Вон с лесоучастка! Чтобы духу не было!» И он также [быстро] исчез, как появился.

Гнева его хватило на час, ведь он был добрым. И даже молоко, которое ему полагалось, целый литр, отдавал нам с Марусей. Мы тушили с этим молоком грибы, которые приносили нам доярки-пастушки, две женщины. Сами мы ходить в тайгу боялись. Я ездила за продуктами с конвоиром раз в две недели. Выезжали мы всегда ночью, конвоир сразу заваливался спать, а я правила лошадей. Она медленно шла проложенной от участка до лагеря просекой. Ночью в тайге страшно. Ни зги не видно. Ветки хлещут по лицу. Сквозь высокие верхушки деревьев где-то мелькнет звездочка и снова кромешная тьма. То кто-то плачет, то ухает. Знаю, что это ночные птицы, а все-таки мурашки по коже. Ткну локтем конвоира, а он помычит и снова храпит. Знает, что никуда не убежит. Куда уж! Кажется отвори нам ворота и уйди стража – ни один из наших и шага не сделает, всего боялись. К утру приезжали в лагерь, получали продукты, а в ночь возвращались на лесоучасток.

Только теперь я поняла, что такое таежный воздух. Жили в лагере и не понимали, чем дышим. А теперь за пять километров до лагеря уже резко пахло сероводородом из выгребных ям. А ведь наш лагерь был маленький – всего 5 тысяч. Какой же воздух был в тех, в которых было 40 тысяч и больше?

Через месяц на нашем лесоучастке работ закончились, и меня перебросили на другой, где начальником был некто Пономаренко. Это был не Копылов, и с первых же дней у меня начались неприятности. Несмотря на то, что конвой снабжался продуктами значительно лучше заключенных, Пономаренко все время присылал свою повариху (уголовницу, с которой сожительствовал) брать, якобы в долг, продукты заключенных. Я возмутилась и потребовала расписку. Я забыла, что это не на воле. Расписок мне никто не дал, но Пономаренко меня сразу возненавидел.

По работе я должна была ездить с конвоиром замерять скирды сена. Участок был огромный по сравнению с прежним. Но Пономаренко меня за зону не выпускал, а когда приехал Маслов, нажаловался, что я не работаю. После выяснения пришлось разрешить мне выезжать для замеров накошенного сена. Скирды были огромные, как бараки. Мы вдвоем с конвоиром подъезжали на лошадке, я быстро замеряла скирду рулеткой, делала вычисление, а конвоир записывал количество на чурке, которую засовывали в отверстие под скирдой. И так каждый день. Однажды, возвращаясь под вечер на лесоучасток, мы

увидели, что все з/к з/к стоят по стойке смирно. «Что-то случилось», - сказал мой конвоир, бросил поводья и помчался в зону. Я побежала туда же. Все смотрели в одном направлении. Там, в высокой траве мелькнул белый платок. Кто-то закричал: «Вон, вон она!» И в тот же миг Пономаренко вскочил на лошадь, на другую его помощник, за ними бросилась овчарка. Со мной рядом оказался мой прежний начальник Копылов. Он разъяснил мне, что не вернулась с покоса одна девчонка. Видимо в обед отошла поискать грибков да заблудилась. Сейчас начали варить ужин, на дымок она и бежит.

Пономаренко подскакал к девчонке, взмахнул рукой, и собака набросилась на нее. Раздался дикий вопль, девчонка упала, а собака стала рвать на ней одежду. Пономаренко приказал девчонке бежать и снова натравил на нее овчарку. Теперь уже издали были видны пятна крови на платье бегущей. В воздухе стоял непрерывный человеческий крик. На минуту мы все застыли от ужаса, но когда девчонка снова упала и собака начала буквально раздирать ее тельце – я не выдержала. Я заорала что есть силы: «Что Вы делаете? Прекратите! Вы советские люди! Только негров когда-то травили собаками в Америке, а здесь Советский Союз. Прекратите!»

Мой крик потонул в собачьем лае и крике девочки. Пономаренко снова поднял ее и заставил бежать, но она уже выбилась из сил и, сделав несколько шагов, упала и больше не поднялась.

И тогда я закричала: «Фашисты! Негодяи! Люди сражаются на фронте, а вы прячетесь за бабьи юбки и истязаете девчонок! Мерзавцы!»

Пономаренко, оставив лежащую девочку, направил лошадь в мою сторону. В это время Копылов буквально схватил меня в охапку и, зажимая мне рот, зашипел в ухо: «Замолчи! Ты с ума сошла! Да он тебя пристрелит и ему ничего не будет, скажет, что при попытке к бегству». В землянке он бросил меня на топчан и сказал, чтобы я ни за что не соглашалась ехать с Пономаренко в лагерь.

Через несколько минут тот вошел и приказал собираться. «Нет, - сказала я, - ни за что. Вы одну уже убили, хватит с Вас. Не поеду». «Поедешь. Свяжем, и поедешь», - крикнул Пономаренко. Снова зашел Копылов и сообщил, что девочку посадили в штрафную яму. Он потихоньку спустил ей кусочек хлеба, но она без сознания.

Всю ночь я металась в жару, а наутро неожиданно в землянку вошел Маслов. «Что ты натворила? - сказал он. - Собирайся, поедешь в лагерь». «Нет, - завопила я, - он меня убьет». Маслов наклонился ко мне, тихонько сказал: «Со мной поедешь, вдвоем».

Через пять минут я влезала в двухместный тарантасик. Когда мы отъехали от лесоучастка, Маслов сказал: «Ну, рассказывай». Я не выдержала, прижалась лицом к его плечу и так горько заплакала, что он растерялся. А потом стал гладить по голове и утешать как маленького ребенка. В лагере он сдал меня в больницу, где я пролежала две недели в сильной нервной горячке. Девочку тоже привезли и отправили в Новосибирск.

Когда я вернулась в контору, там как раз оформлялись Пономаренко и его помощник. Их отправляли на фронт. Пономаренко подошел ко мне. «Вот, - сказал он, благодаря тебе отправляют». Я взорвалась, крикнула: «И первую пулю в лоб!». Он вскочил как ужаленный...

А девочка сошла с ума. Ей было 14 лет.

(Рукопись. Архив Казанского общества «Мемориал»)